

«Ушед навек от смертных уз»...

«Мог. праба. — 1994. — 11 февр. — с. 8.

Пушкин в пору его славы писали многие известные художники: и первый портретист Москвы — Василий Тропинин, и любимец моды легкорылой Орест Кипренский. Но поэт мечтал, чтобы его портрет создал самый знаменитый в ту пору — Карл Брюллов. В мастерской пленительно остроумного мастера грусть Пушкина проходила. А Брюллов, который подчинил свою жизнь законам артистической богемы, был убежден, что жизнь поэта несовместима с семейными радостями. В семейное счастье Пушкина он не верил, ни в какое сравнение с его возлюбленной, графиней Самойловой, блиставшей красотой на его полотнах, Наталья Николаевна, по его мнению, конечно, не шла. Но портрет приятеля писать охотно согласился: «Приезжай ко мне двадцать восьмого января после завтрака, сразу и начнем»... — предложил он ему при последней встрече.

Может, в создании портрета, двойника, скрыта какая-то тайна жизни? И не этой ли тайне бросил десять лет назад вызов тогда еще молодой поэт,

увидев себя как в зеркале на полотне «волшебника милого» Ореста: «И я смеюся над могилой. Ушед навек от смертных уз».

«Великий Карл» не оставил ни одного портрета Пушкина.

28 января (по старому стилю) Петербург облетела и расстрожила весть о дуэли Пушкина с Дантесом, а сам поэт лежал в своем кабинете на диване смертельно раненный, просил моченой морочки и сдерживал стоны, чтобы не испугать жену. На совет Даля не стыдиться боли отвечал отрывисто: «Нет, не надо, жена уйдет, и смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил!»

В свое время Вересаев как бы в похвалу Пушкину говорил, что Пушкин умирал не как великий поэт, а как великий человек. Мне кажется, это неверно. Завет Пушкина: «Слава поэта суть дела его», слово — поступок. «Я был в тридцати сражениях», — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного».

Высокая трагедия последних минут и маленькая поэти-

ческая трагедия «Пир во время чумы». И голос самого Пушкина слышится сквозь песню Вальсинггата: «Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю». Умирал великий поэт. И Даль, 28-29 января бесценно дежуривший у постели умирающего, оставил документальную запись: «Пульс стал упадать и вскоре исчез вовсе, и руки начали стыть. Ударило два часа пополудни, 29 января, и в Пушкине осталось жизни только на три четверти часа». Как точен оказался Даль!

Я хорошо помню ветреный очень холодный день — 10 февраля (29 января по старому стилю) юбилейного 1987 года и в роковые — в 2 часа 45 минут — застыли в минуте молчания у «квартиры Пушкина на Арбате» те, кто пришел поклониться памяти поэта.

Огромная разноликая толпа — и сколько было юных лиц! Сюда тогда было паломничество. И каждый терпеливо ждал своего часа, чтобы войти в дом, куда Пушкин 18 февраля 1831 года после венчания привез юную жену. «Я женат — и счастлив», — напишет он Плетневу. Дон Жуан в его маленькой тра-

гедии «Каменный гость» гибнет в миг, когда пришло счастье. У Пушкина это произошло через 6 лет... И всех нас тогда, в дни 150-летия гибели поэта, объединяло чувство, что в этом доме счастья, в этих нескольких месяцах светлого существования — завязка грядущей трагедии и ужасного финала на Черной речке — «отдаленные седой зимы угрозы». Всех объединяло чувство, что эти места священны, и возникла идея создания в Москве «Пушкинского парка». Мыслями этими делился и Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Действительно, есть в Москве в пределах Бульварного кольца в

буквальном смысле Пушкинский район. Определяется он не административными границами, а духовным содержанием. И рождается идея «Пушкинского парка», состоящего из нынешних бульваров, скверов, памятников архитектуры в арбатских и кропоткинских переулках».

Пушкин словно предчувствовал свою смерть: «Снова тучи надо мною собрались в тишине; рок завистливый бедою угрожает снова мне». Бывают странные сближения. Великий поэт умер 10 февраля нового стиля, в день памяти великого христианского подвижника Ефрема Сирина, в уче-

нии о покаянии которого за последнее время обретал душевные силы. Незадолго до своей смерти он сделал поэтическое переложение молитвы Ефрема Сирина, которая читается с первого дня Великого поста. Мудрость Пушкина получила свое высшее выражение и завершение в этих стихах. Он напомнил нам о самых простых и в то же время самых важных началах человечности. И словно завещание нам сегодня звучат его выстраданные жизненным опытом слова: «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».

Дилара ЕНИКЕЕВА.

Мог ли Пушкин убить Дантеса?

«Пушкин не мог убить Дантеса. Случись такое — он не был бы Пушкиным», — сказал мне несколько лет назад один из замечательных наших пушкинистов. Прозвучало это не вскользь, не под влиянием какого-то импульса, а как выношенное убеждение. Я смолчал, но чем дальше, тем очевидней для меня ущербность такой точки зрения. Можно понять ее природу: она связана с чистотой пушкинского образа, с невольным преклонением перед этой чистотой. Но за этими словами, в их романтической окраске маячит некая бестактность: поэту как бы предъявляют задним числом что-то вроде морального ультиматума и ценза. «Пушкин не мог убить Дантеса» — эта фраза уводит нас от правды факта. Пушкин всю жизнь готовил себя к роковому поединку — и в буквальном, кодексном смысле слова, и в бытийном его значении. Будучи в михайловской ссылке, ежедневно упражнялся в стрельбе из пистолета, носил с собой увесистую железную трость, даже жонглировал ею — чтобы иметь твердую руку, чтоб не дрогнула, когда придет час «в деле» применить оружие. Да и сам по себе вызов на дуэль или принятие вызова, если это не фарс (в случае с Дантесом фарс, конечно, исключается), — это ведь намерение убить. Между намерением и его исполнением целая пропасть, но попытка убийства отличается от убийства содеянного лишь по результату, не по существу. Бросая в лицо врагу «перчатку», подставляя себя под выстрел, Пушкин шел не на жертвоприношение, он горел нескрываемым желанием убить. Даже смертельно раненный, нашел в себе силы поднять руку, отогнать оружие, долго целился и — сделал свой выстрел. Увидев, что Дантес упал, еще и подбросил свой пистолет с ликующим возгласом. Разве вправе мы после этого сказать: «Он не мог убить»? Другое дело, что ему на роду написано — избегнуть клейма убийцы. В этом смысле, конечно, пушкинист прав.

Он «был рожден для жизни мирной»; еще в юношеской поэме «Сон» заявил: «Я не злодей... не зрю во сне кровавых привидений», но, как в черепе Олега коня, в нем таилась — чуждая ему, навязанная извне — возможность и необходимость убийства. А также самоуничтожения, равнозначного убийству. Здесь, я полагаю, один из острейших болевых

узлов пушкинского трагизма. То есть право на убийство — по кодексу чести, в открытом бою — дело для Пушкина вроде бы решенное, несомненное; только решено оно как бы не им самим, помимо его воли. Не случайно, к примеру, Онегин и Ленский, два вчерашних неразлучных друга, близких и дорогих Пушкину, ставят свою жизнь на карту по самому ничтожному и нелепейшему поводу: «Как в страшном непонятном сне, Они друг другу в тишине Готовят гибель hladнокровно». Дикость поединка подчеркнута иронией, с которой автор представляет нам Зарецкого, одного из секундентов: «...человека растянуть Он позволял не как-нибудь, Но в строгих правилах искусства». Чудовищно, трагикомично и — неотвратимо.

Онегин убил Ленского, Пушкин пал от пули Дантеса, и не надо строить вариаций: жизнь однозначна, ни тебе черновиков, ни репетиций, ни дублей. От руки друга, от руки врага, но в обоих случаях — погиб Поэт; таков, очевидно, закон судьбы. Пушкин открыл его в поэзии и подтвердил своей гибелью, хотя и сделал все возможное, чтоб его опровергнуть. Пушкин для нас — великое откровение, но оно сопряжено с еще более емким сокровищем? Нам надо уяснить себе: Пушкин — это не ответ, а сплошной вопрос. За примером далеко ходить не надо. В уста Моцарта и Сальери поэт вложил две опорные фразы, внутренне противостоящие, как в поединке, одна другой: «Нет правды на земле. Но правды нет и выше» (слова Сальери); «Гений и злодейство — две вещи несовместные» (слова Моцарта). Пушкин не чужд смысл того и другого афоризма, но сам он обычно избегал подобных суждений: в них есть что-то от прописных истин. И вообще: что значит «правда», что — «злодейство»? На вопросы такого рода Пушкин, к счастью, ответа не знал; этих ответов нет в природе вещей. А проваляться полустинной да еще выдавать ее за закон мудрости Пушкину не пристало. Более всего он чуждал позы непогрешимого арбитра, даже высшему судье готов был отказать в праве на окончательный вердикт. Сальери, говоря о правде, имеет в виду справедливость. Во имя справедливости он и отравляет Моцарта, будучи искренне убежден, что убивает зло и совершает подвиг: «Я избран, чтоб его остановить — не то мы

все погибли». Причем он подавляет в себе столь же искреннюю любовь к «гуляке праздному». В этой «маленькой» пьесе, как в игрушечной матрешке, Пушкин вскрывает одну за другой целую череду грандиозных трагедий — не частных и личных, не ситуационных, а мировых, сущностных, вечных. Ему дана такая глубина проницания, что срабатывает эффект полного взаимодействия творца и творения. Из этого раствора не выпадает ни крупинцы осадка — здесь нет места третьей стороне, выводам и приговорам.

Вот почему у Пушкина и мысли нет упрекнуть, тем более обвинить Онегина или Сальери. Сама жизнь по своим неписанным законам вершит суд над ними. А честный и благородный Владимир Дубровский? Выстрелом в ухо он валит наземь злосчастного медведя и становится героем, но спустя некоторое время его самого, как того медведя, сражает в упор пуля отнюдь не воинственного князя Верейского. Пушкин лишь в шутку может напечатать нам свой «намеки» и «урок». Он задает условия задачи, но решать ее нам предстоит самим: всем сообща и каждому в отдельности.

Ну а Дон Гуан? «Развратный, бессовестный, безбожный», «злодей», «мерзавец», «искуситель», «повеса, дьявол», «сущий демон» (так аттестуют его персонажи трагедии, да и сам он признает: «На совести усталой много зла») — он кладет трупы направо и налево, глумится даже над тенью убитого им Командора; а между тем, как ни странно, ни эти кровопролития, ни кощунство и ослепительный цинизм не вызывают у нас гнева или неприязни. Пушкин, правда, в финале протянул Гуану карающую руку и препроводил его в тартар, но наделил его редкостью ярким талантом жизнелюбия, веселья и отваги, неподдельного обаяния. «Я Дон Гуан, и я тебя люблю»: в этом обращенном к Доне Анне признании — ошеломляющая прямота, сила, чистота чувств. Короче говоря, поэт не спешил отмежевываться от порожденных им «душегубцев». Более того: в портретах многих из них проступают пусть второстепенные, но собственные авторские черты. Не составляют исключения в этом ряду ни Сальери, ни Германн, ни Дон Гуан. О «Каменном госте» хочу сказать еще особо. Пушкин писал его, как мы знаем, в Болдине, в преддверии женитьбы. Конечно же, он без конца



«прокручивал» тогда весь свой путь — прошлый и будущий, так что набор созданий той осени не мог не включить (в более или менее преобразованном виде) живые модели его «снов». В Дон Гуане, на мой взгляд, Пушкин вложил всю страсть своего прощания с неприкаянной вольницей, и, кроме того, данная коллизия сильна тем, что поэт предвосхитил здесь «перемену ролей»: до сих пор он был близок к амплу Дон Гуана, теперь ему ближе придется роль Командора. Этому образу придана грозная мощь человеческого достоинства. Из-за гробовой черты, в каменном изваянии — его любовь и ревность несут уверенность в себе убийственную длань правосудия. Так что Пушкин как бы расчленил свой прообраз на два самостоятельных «портрета» и столкнул их, причем дважды: в первом поединке (за кадром, еще до начала описываемого действия) Дон Гуан поразил Командора, во втором — Командор, уже в виде статуи, у нас на глазах дарит Дон Гуану смертоносное рукопожатие; то есть оба отпрыска поэта произведены к взаимному «братоубийству» (им уподобятся позднее два царевича в «Золотом петушке»: «Оба мертвые лежат, Меч вонзивши друг во друга»). Интересный факт: за три недели до «Каменного гостя» там же, в Болдине, был произведен «Выстрел», где тоже имеет место повторный поединок, но оба раза дело кончается бескровно; пародией на кровь служит сок черешни, которым упивается граф в ожидании ответного выстрела Сильвио.

Своей симпатии и сочувствия Пушкин делит поровну между противниками, в оппо-

зиции. Сильвио и граф, Дон Гуан и Командор, Онегин и Ленский, Германн и старуха графиня — в каждой из этих пар заключено равновесие, партнеры достойны друг друга, каждый по-своему прав. Тем глубже, острее, безысходней драматизм «великого противостояния». Кстати говоря, двукратный благополучный исход дуэли в повести «Выстрел» весьма отослитель, трагедия все же берет свое: Сильвио ищет и находит себе гибель где-то под Скалянами, а две пули, безобидно всаженные одна на другую в картину на стене, пронзили, оказывается, сердца молодых владельцев этой картины — графа и графини... Как все это понимать? Что за монстр такой — с необычайной легкостью, словно в злорадстве, а то и в сладострастии разыгрывает все эти сюжеты? Какова в этом театре роль Дантеса? Почему поэт не удостоил его ни каплей снисхождения, не пожелал «понять» и хоть как-то оправдать его изнутри? Неужто лишь потому, что Дантес — его личный враг и соперник? Ни в одном из множества запечатленных Пушкиным поединков и противоборств не было, кажется, столь крайней степени ожесточения, как с Дантесом. Ни у Руслана с Черномором, ни у Гриневы с Швабриным, ни даже у Кочубея с Мазепой (хотя здесь налицо страшный клубок душевраздирающих обстоятельств) — в их ненависти друг к другу нет ничего сходного с тем, что вывело Пушкина на огневой рубеж. А ведь Дантес, по правде говоря, не «исчадие ада», не «выродок». Сам по себе вряд ли мог этот человек вызвать в душе поэта испепеляющий вулканический выброс. Почему

Пушкин с его невероятной внутренней свободой оказался вдруг не свободен от бешеной ненависти, безудержной жажды крови?

Всю жизнь поединок был для него чуть ли не навязчивой идеей, воплощаемой в десятках разнородных версий. Пушкин сталкивает своих героев с «каменным гостем» и «медным всадником», с безликой стихией, с дьявольщиной. Не раз доводилось ему брать в руки вместо гусиного пера подлинное оружие. В дуэли, как в фокусе, сходились конечное и бескрайнее, явь и сон, свобода и несвобода, безверие и вера. Пушкин по доброй воле сделал свой шаг к барьеру, но он не волен был сделать ничего другого. Это был выбор, но также неизбежность. Пушкин не терпелось постичь эту до ужаса бесхитростную раскладку, поставить в ней последнюю точку. Или многоточие. Его визави с Дантесом — это гибель, но это и жизнь. Дуэль — судьба, которая «не ведет что творит». В одном из писем к Вяземскому Пушкин однажды сравнил судьбу с «огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Не ты, не я, никто». Но вот он встал и шагнул ей навстречу — помериться силой с произволом скверны и смрада...

«Мне нужно привести в порядок мой дом», — прошептал Пушкин уже раненный смертельно, лежа на своем диване в окружении близких и друзей. Вот что было главной его заботой. А ведь дом его — без стен, без потолка: весь мир.

Праздный вопрос: мог ли Пушкин убить Дантеса?

Геннадий РОССОШ.